

Большой читательский успех завоевали такие романы Юрия Германа, посвященные изображению нашего современника, как «Наши знакомые», «Подполковник медицинской службы», «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все»; до сих пор не сходят с экрана многие фильмы, поставленные по его сценариям. В апреле этого года Ю. П. Герману исполнилось бы 70 лет.

Сегодня мы публикуем воспоминания Л. Левина, в которых рассказывается о первых шагах Юрия Германа в литературе, — формирование его литературных вкусов.

В 1934 году, незадолго до Первого Всесоюзного съезда писателей и в порядке подготовки к нему, редакция ленинградского журнала «Литературный современник» и библиотека Московско-Нарвского дома культуры решили провести встречу Юрия Германа с читателями Нарвского района. В «Литературном современнике» уже печатались тогда роман Германа «Наши знакомые», получивший впоследствии необычайно широкое распространение. Встреча, однако, посвящалась роману «Вступление», который два года назад был замечен и одобрен М. Горьким.

К этой встрече вышла небольшая брошюра о Германе (теперь сказали бы издательство: бунлет). Составил брошюру молодой писатель Владимир Велаяев, будущий автор «Старой крепости», а редактировал ее я (оба мы работали тогда в «Литературном современнике»). В предисловии к брошюре говорилось, что Герман — «один из ближайших сотрудников журнала» и что задача встречи — «помочь

писателю в его творческой работе и приблизить к художественной литературе новые слои рабочих читателей».

Далее следовала написанная Германом специально для этого издания заметка «Писатель — читателю».

«Начал писать в 1925 году в школе, — рассказывал Герман. — Один из парней распустил о себе слух, что покончил самоубийством — у него не было популярности

так прямо не говорил, но чувствовалось, что он постоянно помнит, что на свете существует великая русская литература, и не может допустить, чтобы кто-нибудь хоть на минуту забыл об этом».

Вряд ли можно заподозрить меня в том, что и двадцати годам я не прочитал «Войну и мир» или «Случайную историю». Но — не стыжусь в этом сознаться — только после общения с Германом я

ЭТО БЫЛО В НАЧАЛЕ ТРИДЦАТЫХ...

среди девушек, он хотел стать героем и прислал в школу своего брата, который сказал, что Фома, кажется, повесился. Мы все возмутились и осудили повесившегося. Он — мелкий буржуй, сказали мы, его надо заклеить. Заклеймил и я. Написал целую поэму — четырехстрон. Потом самоубийца не разговаривал со мной месяц. После этого писал в порядке школьной дисциплины ко всем торжественным случаям. Писал пьесы и написал рассказ о декабристах».

Так Герман пятнадцатилетним школьником начал писать и продолжал заниматься этим «в порядке школьной дисциплины»...

Когда в начале тридцатых годов я познакомился и сразу подружился с Германом, он в свои двадцать с небольшим был уже автором двух романов. В 1931 году, почти одновременно, вышли «Рафаэль из парикмахерской» и «Вступление». Но больше всего поразила в нем зрелость взглядов на литературу. Перед Чеховым и Толстым он поистине благоговел. Самым же поразительным было его умение в каждом отдельном случае судить о литературе, как бы становясь на точку зрения Чехова или Толстого: «Что сказал бы Лев Николаевич?», «Яйцу Павловичу не понравилось бы». Он никогда

не просто понял, но впервые глубоко ощутил ту всеобъемлющую ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ правду, которой полны сочинения Толстого и Чехова. Русская классическая литература, наконец, стала для меня не просто предметом школьного или студенческого изучения, но средством приобщения к великой жизненной ПРАВДЕ.

В недавнем прошлом я состоял в Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Нельзя сказать, что рапповцы недооценивали классиков, и в частности Толстого. Наоборот, А. Фадееву и Ю. Либединскому нередко доставалось за то, что они призывали учиться у Толстого и сами (Фадеев) следовали этому призыву. Известно, что влияние Толстого сказалось и в «Разгром», и — в особенности — в первых редакциях «Последнего из удзгов».

Но до встречи с Германом никто не разговаривал со мной о Толстом или Чехове так ЛИЧНО и с такой — не нахожу более точного слова — ОСЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ. Герман не просто знал и любил этих писателей, но как бы всем своим существом чувствовал, осязал, обонял, ВПИТЫВАЛ бесконечно многообразный мир, который они создали в своих произведениях.

Мои рапповские кумиры ни-ин-провергались один за дру-

гим. То, к чему я еще недавно относился всерьез и принимал за настоящую литературу, оказывалось фальшивой монетой.

Иногда я все-таки пытался спорить, доказывал Герману, что он ошибается, защищал от него тех, кого раньше признавал и кто подвергался теперь его беспощадным нападкам. Но в то же время я не мог не понимать, что Герман прав: во всех своих суждениях и оценках он руководствовался безошибочным чувством правды, воспитанным в нем Чеховым и Толстым.

На нужно, впрочем, думать, что Герман любил только русских классиков. Он высоко ценил Мопассана, Флобера, Диккенса, Стендала, Мериме. Я хорошо помню, как он радовался, когда ему удалось купить собрание сочинений Мопассана, изданное в свое время «Шиповником». До тех пор Мопассан был представлен в его библиотеке книжечками малого формата, вышедшими в С.-Петербурге в 1911—1912 годах. Купил «шиповниковского» Мопассана.

Герман подарил мне старое издание, незадолго перед тем полученное из переплетки. Уже почти полвека стоят на моей книжной полке эти шестнадцать маленьких томиков. На корешке каждого из них инициалы: «Ю. Г.»

Герман высоко ценил классиков западной литературы, но вершинами художественного познания все-таки считал Толстого, Чехова, Достоевского. Он отлично помнил их сочинения и готов был целыми часами восхитенно цитировать «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Дуэль».

— Вы помните, — говорил он (тогда мы были еще на «вы»), — что прежде всего подумала Анна, вернувшись в Петербург и увидев Каренина? Я признавался, что не помню.

— Она подумала: отчего у него стали такие уши? СТАЛИ! — подчеркивал Герман. — Даже увидев любимого Сереньку, она испытала чувство, похожее на разочарование. Это гениально! Не говоря ни слова о любви Анны к Вронскому, Толстой заставляет нас почувствовать силу этой любви. Вы понимаете?

— Понимаю, — покорно отвечал я. — А вы можете сказать, какой персонаж Чехова вспоминает это место из «Анны Карениной»?

Я признавался, что не могу.

— Лаевский! — восклицал Герман. — Когда он перестает любить Надежду Федоровну, все в ней начинает раздражать его — белая шея, завитушки волос на затылке... Тогда он и вспоминает, что Анну, вернувшуюся в Петербург, стали раздражать уши Каренина...

В другой раз он спрашивал: — Скажите-ка, чего больше всего на свете боялся князь Андрей?

Я отвечал, что князь Андрей больше всего на свете боялся пошлости.

— Это верно, — соглашался Герман, — но не вполне точно. Помните, в первой части «Войны и мира» Болконский наблюдает картину беспорядочно бегущей армии и застукает за лекарскую жену, которую не хочет пропустить пьяный офицер. При этом он опасается, что его застукиничество выглядит «РИДИКУЛЬНО», то есть смешно. Этого князь Андрей и боится больше всего на свете. Чтобы не оказаться в положении «ридикульно», он, не задумываясь, пожертвует жизнью...

Когда Горький заметил и одобрил «Вступление», Герман был, в сущности, еще мальчик. Надо отдать ему должное: к похвале Горького он отнесся с несвойственным его возрасту спокойствием. Конечно, Герман понимал, сколь серьезно то, что с ним произошло. Похвала его роману прозвучала на всю страну, если не на весь мир. И чья похвала! В те годы каждый молодой — да и не только молодой! — писатель мечтал, чтобы его заметил Горький.

Герман был, конечно, счастлив, но голова его не закружилась. Точно так же он держался и в конце тридцатых годов, когда его наравне с М. Зощенко, Б. Лавреневым, Ю. Тыняновым, К. Фединым, О. Форш наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Много лет спустя в воспоминаниях о Горьком Герман написал: «Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если мальчик не свихнется, из него может выйти толк».

Герман процитировал Горького неточно и сделал это, конечно, сознательно. На самом деле Горький сказал: «...из него может вырабатываться крупный писатель».

Так оно впоследствии и вышло.